

Шестой боро Нью-Йорка

— Сэр, — сказал он, — если вы сотрудничаете с русскими агентами, надо зарегистрироваться.

Я сказал ему, что не сотрудничаю с русскими агентами, посмотрел на его напарника, который сидел в моем кресле, плотно, уверенно, по-хозяйски, и повторил:

— Сэр, я не сотрудничаю с русскими агентами.

— Его зовут Томас, — он кивнул в сторону напарника. — Меня зовут Джерри. Можете называть нас по имени.

— Есть, сэр. Но пока я не готов. Мое имя вы знаете.

— Слушай, — улыбнулся Томас, — ну чего так, сразу в бутылку. Мы сюда для чего пришли? Пришли, чтобы поговорить.

— Я не приглашал вас.

Джерри подтвердил:

— Не приглашали. Но были варианты. Мы предлагали варианты.

Это верно: были варианты. Мне позвонили по телефону, сказали, что хотели бы встретиться.

— Сэр, где бы вы предпочли: ланч где-нибудь в ресторане, по вашему выбору, у вас дома или...

— ...или, — я засмеялся, — у вас в конторе?

— Да, сэр, или у нас в конторе. Полагаю, сэр, вы знаете: наша контора на Федерал-плаза, дом 26.

Да, я знал, где контора: сорокаэтажный серый дом с посаженными глубоко, как ячейки в пчелиных сотах, окнами. Главный вход с Бродвея, там всегда в очереди, зажатой съёмными железными оградами, толпятся люди, на детских площадках, крытых резиновыми матами и огороженных с четырех сторон, играют дети, в жаркий день прохожие останавливаются, берясь за опоры или металлические сетки, с улыбкой, как бывает в зоопарке, где резвятся косматые щенята, разглядывают детей.

— Сэр, — сказал я, — вы предпочитаете, чтобы я пришел к вам в контору?

— Вы можете прийти к нам в контору. Но почему не встретиться у вас дома?

Я спросил:

— Хотите посмотреть мою берлогу?

Он не ответил. По привычке, как будто собеседник был рядом, я мотнул головой:

— О'кей.

Я не говорил: "Приходите". Не говорил, что жду их, буду рад, увидимся, или другие слова, какие говорятся в этих случаях, когда приглашают в гости. Он мог бы сказать: "Сэр, а ваше о'кей — разве не приглашение?".

Он не сказал. Я знаю: он не сказал, потому что дело, ради которого он пришел, не требовало формального предлога. Если информация, которую он получил, верна, надо предупредить человека, чтобы он зарегистрировался, как надлежит всякому, кто сотрудничает с иностранными агентами.

Я спросил у него, почему, по какому праву он предложил мне зарегистрироваться.

Он посмотрел на меня внимательно:

— Я не предлагал вам зарегистрироваться. Я сказал: если вы сотрудничаете с русскими агентами, надо зарегистрироваться.

— Сэр, вы полагаете, что я сотрудничаю?

Он не отвечал. Томас, глянув на меня, на Джерри, замотал головой, засмеялся. Сначала этот смех показался мне странным, я с удивлением смотрел на Томаса, я хотел, чтобы он видел это мое удивление, и вдруг сам засмеялся, замотал головой, как Томас.

— Ну, парень, — хлопнул себя по колену Томас, — ну, парень! Да кто ж говорил, что сотрудничаешь? Ну кто, покажи пальцем.

Джерри сделал знак Томасу, чтобы унялся, уставился на меня, было ощущение, чего-то ожидает, у меня у самого было это чувство: что-то должно произойти, я показал пальцем на одного, на другого:

— Я могу сказать: уходите. Я у себя дома. Я могу вам сказать, уходите, и вы уйдете. Но я не хочу выгонять вас. Вы сами уйдете.

Томас в кресле подался весь вперед, слегка покачивая из стороны в сторону треугольный свой торс, крепко затянутый в поясище ремнем. Джерри подошел ко мне, положил руку на плечо, тут же убрал, мне было неприятно, когда он положил на плечо мне свою руку, но еще неприятнее, когда вот так, без слов, спустя секунду убрал ее.

— Мы, конечно, знаем о вашей жизни в России, — сказал Джерри. — Ваша лояльность ставилась под сомнение. Вы не смогли опровергнуть этих сомнений. Вам предъявили более серьезные обвинения: нелегальные связи с западными службами. Естественно, нам хотелось бы уточнить: верно ли, что у вас были такие связи? Если вы не считаете уместным отвечать на этот вопрос, ваше право — не отвечать.

Я спросил:

— Сэр, вы уверены, что у меня есть право не отвечать?

Томас смотрел на меня с недоумением, перевел взгляд на Джерри, по-

том опять на меня, и хотя мой вопрос был адресован не ему, сказал, вертя пальцем перед носом:

— Здесь не Россия. Здесь Америка. Парень, здесь Америка.

Джерри не понравилась реплика Томаса. Я по глазам видел: ему в самом деле не нравится реплика Томаса, он чуть сощурился и, обращаясь ко мне, твердо произнес:

— Да, я уверен, ваше право — не отвечать.

Мне хотелось сказать Джерри, слушай, я не в России, я в Америке, нелегальные связи с западными службами мне, как праотцу Аврааму вера в Господа, здесь в праведность. Я хотел сказать именно это, я уже и слова обдумал, но услышал вдруг голос не мой, но похожий на мой, как бывает, когда слушаешь себя в магнитной записи:

— Я не буду отвечать.

Томас откинулся в кресле, скрестил руки на груди, видно было, как под рубахой играют бицепсы, Джерри не сразу, а так, секунды две-три спустя, кивнул головой: о'кей. Глянув на книжную полку, он спросил, можно ли посмотреть вот эту, на обложке силуэт Нью-Йорка, получив разрешение, снял книжку, стал листать.

Я спросил:

— Вы читаете по-русски?

Он сказал, что не читает, но знает буквы, кириллицу, отдельные слова может прочесть. Имя на обложке может прочесть, название тоже, если слова звучат, как по-английски, например, "бизнесмен". Джерри улыбнулся, улыбка доброго парня, откуда-нибудь со Среднего Запада, я таких встречал в Огайо, в Айове: с коротким, чуть вздернутым, как это бывает у ирландцев, носом и зелеными, с крупницей песка, как у камышовых котов, глазами.

— Джерри, — имя как-то само сорвалось, — вы со Среднего Запада, из трапперов?

Он перестал листать книгу, вскинул голову, улыбнулся, улыбка была та же, опять пришли на память Огайо, Айова, где были у меня встречи с тамошними университетскими профессорами, студентами и рослыми, с удивительно белой кожей и рыжими крупными веснушками вокруг носа и над грудью, в широко развернутых воротах лазоревых и густо-синих рубах, студентками, все, как одна, влюбленными в Россию, Толстого, Достоевского, Чехова.

— Я не из трапперов, — сказал Джерри, — но вы немножко угадали: в роду были охотники, только не со стороны европейцев, а со стороны ин-

дейцев. Так что в жилах есть кровь аборигенов. Я читал, русские сильно верят в инстинкт. Наверное, какие-то основания есть.

Я подтвердил: несомненно, есть, вот он, Джерри, пошел в охотники.

Томас набычился, сжал пальцы в кулаки, а Джерри, наоборот, весело, по-мальчишески засмеялся:

— Есть, есть, только скорее не в охотники, а в следопыты. Мне говорили, русские школьники до сих пор читают книги Фенимора Купера и Майн Рида. А наши, я думаю, многие, даже не слышали про этих писателей. Конечно, в этом немножко вина нашей школы.

Джерри перестал листать книгу, глянул в окно, отсюда казалось, Ист-Ривер катит свои воды между домов, два моста, Манхэттенский и Бруклинский, немного заслоняли устье, где Гудзон сходиллся с Ист-Ривер, статуя Свободы и приземистые дома Губернаторского острова, с его зелеными лужайками, как будто специально раскрашенными, чтобы положить отрадное для глаза пятно на свинцовые воды, воспринимались как детали гигантского макета.

— Я думаю, — сказал Джерри, — это психологическая загадка: почему такие большие комплексы, смотрите, немножко даже видно верхушки ферм моста Вереззано, воспринимаются, как макет? Наверно, для человеческого глаза это как кубики, как детали конструктора, из которых по Вселенной строятся города людей.

Джерри подошел к окну, Томас весело, как свой своему, подмигнул мне — во, дает! — Джерри вдруг резко, как будто почувствовал, что за спиной у него перемигиваются, обернулся, не к Томасу, который гримасничал, на лице еще сохранялась веселая ухмылка, а ко мне:

— Вам нравится Нью-Йорк?

Я сказал, да, нравится. Нью-Йорк — это рай с наиболее привлекательными чертами ада.

Томас сделал большие глаза. Видно было, что не прикидывается, видно было, что в самом деле удивлен. Джерри, напротив, как будто ждал этого ответа или, если не именно этого, то чего-то в таком роде, спросил:

— Черты ада?

— Я не сказал черты ада. Я сказал: наиболее привлекательные черты ада.

— Вы могли бы указать конкретно?

— Да, — ответил я, — мог бы. Столь же конкретно, сколь и чертырая.

— Но вы отчетливее видите черты ада. Скажите, это всегда или только тогда, когда вы пишете об Америке?

— Когда я пишу об Америке, я вижу Америку.

— А когда вы пишете о России, — без паузы, как будто говорил один человек, уверенно продолжая монолог, твердо произнес Джерри, — вы видите Россию. В ваших рассказах о родном городе много солнца. В вашем Нью-Йорке нет солнца.

— В моем Нью-Йорке столько солнца, сколько увидел или хотел увидеть тот, кто читал про этот Нью-Йорк.

Томас сощурился:

— Что значит хотел увидеть? Сколько есть, столько увидел. Сколько есть, — повторил он, — столько увидел.

— Джерри, — сказал я, — вы знаете кириллицу. Это немало. В детстве, когда меня готовили в школу, я полгода бился над буквами — "ш" и "щ". Я думал, если к "ш" прибавить палочку, она будет "щ". Если у "щ" отнять палочку, она будет "ш". Эти рассуждения должны были помочь мне, но на самом деле запутали еще больше. Мама приходила в отчаяние. Она говорила, с такими знаниями меня не примут в школу, и я буду весь день бегать по городу, как беспризорный. "Беспризорный" в моем городе это было бранное слово. Джерри, вы не читали моих рассказов о родном городе, о России. Вы не читали моих рассказов об Америке. Как, не читая, можно сравнивать?

— Не странно ли, — улыбнулся Джерри, что Брайтон-Бич называют "Одессой у моря"? Один ваш соотечественник сказал: "Это глупо. Где же еще может быть Одесса, если не у моря?".

Томас засмеялся. Не засмеялся, а зареготал, громко, с раскатами, как в солдатской казарме:

— Мне нравятся ваши земляки. Крепкие ребята. Есть такие, ну, прямо готовые американцы.

Я сказал, да, есть. Марк Твен в Одессе, когда первый раз вышел в город, почувствовал себя, как будто дома, где-то на американском Западе.

— Я думаю, — кивнул Джерри, — тогда это могло иметь место. Теперь, конечно, по-другому. Скажите, на Брайтон-Биче у вас есть знакомые?

— На Брайтон-Биче?

— Не только на Брайтон-Биче. Ну, — Джерри задумался, видимо, вспоминая другие районы, — можно назвать еще, Фар-Роккэвей. К примеру.

Я спросил: Фар-Роккэвей? Это у черта на куличках. Почему Фар-Роккэвей?

— Забудем Фар-Роккэвей, — сказал Джерри. — Вы хотели бы назвать кого-нибудь из знакомых?

— Для чего? — спросил я.

Джерри не ответил. Он смотрел на меня в упор, в зеленых глазах появилась желтизна, я думал, отчего эта желтизна, возможно, наследие от его предков-охотников — команчей, апачей, дакотов. Вот так, когда глаз засекал дичь или другую цель, появлялась эта, взятая от пламени костра, желтизна.

— Я вижу, — сказал Джерри, — я понимаю: вы не хотите называть.

Я повторил свой вопрос: для чего называть?

— Вы ждете от меня ответа, — сказал Джерри. — Какого ответа вы ждете?

Джерри был прав: какого ответа я ждал от него? Что мои соотечественники, мои земляки, те, с которыми у него было собеседование, рутинная процедура службы безопасности в эмигрантском улье — называли имена, чтобы представить свою осведомленность в делах, имеющих для ФБР большой государственный интерес?

Джерри сказал:

— Я думаю, у вас есть ответ. Вы правильно угадали: ваше имя называли. Не торопитесь с заключениями. Утверждали, что знают вас хорошо. Но как вы изображаете Америку, — Джерри сощурился, подыскивая нужное слово, — одобрения не было. Я думаю, вы не можете удивляться, что люди видят некоторые факты не так, как видите вы. Эти люди говорят, что социалистический реализм, который заставляли их учить в школе, хотя во всех отношениях был неправильный, в одном отношении был правильный: по тому, как автор описывает жизнь, можно судить, какое у него настроение и какие взгляды. Даже Пушкин, который был такой большой поэт, как в Англии Байрон, невольно открывает свои взгляды, когда пишет, например, о гавани или об опере в Одессе, где он был целый год в ссылке. Это очень интересный феномен с точки зрения психологии. Самы авторы готовы отрицать, но со стороны, кто занимается и умеет анализировать, обязательно заметит.

Томас подтвердил, это так, и чего у русских не отнять, так это помешательства на литературе. Китайцы, корейцы, даже индусы — те целиком в своих лавках, в бизнесе. А русские, даже кто в бизнесе, не с одного, так с другого конца гребут под литературу.

Я спросил Джерри:

— На эти собеседования вы ходите обязательно вдвоем, в паре, как сегодня с Томасом?

Я был уверен, мой вопрос не понравится. Собственно, этого я хотел: чтобы вопрос не понравился. Чтобы Джерри сам убрал академический этот плюмаж, от которого рябило в глазах там, в родном краю, когда в дор-

туарах Галины Борисовны толмачи объяснили мне главный канон соцреализма: кто не с нами, тот против нас.

— Я готов ответить на ваш вопрос, — сказал Джерри. — Но прежде я хотел бы спросить вас, для чего вы задаете этот вопрос? Я вижу, вы хотите укусить. Признайтесь, — улыбнулся Джерри, — хотите.

— Не, — осклабился Томас, — не признается. Ни за что не признается.

— Мы, — Джерри кивнул в сторону Томаса, — делаем одно дело. Но каждый слышит и видит по-своему. Это в ваших интересах, чтобы нас было двое. Но когда один, есть свои преимущества: человек чувствует себя свободнее, самоконтроль меньше. Ваши соотечественники, можно думать, скорее предпочитают тет-а-тет. У многих хорошая память и острый глаз. Бывает просто удивительно, сколько подробностей они держат в уме.

Да, подтвердил я, бывает просто удивительно.

— Скажите, — спросил Джерри, — дубленка это что? Шуба такая или скорее крестьянский тулуп, кажется, я видел в картине "Доктор Живаго" или в русской хронике.

Я предложил Джерри сходить в магазин Коли, Орчар-стрит, пара блоков от Дилэнси, там можно увидеть дубленку и потрогать своими руками. Пик моды давненько прошел, но все равно покупают много и посылают родичам, друзьям.

— Дубленка, — улыбнулся Джерри, — это знак достатка, положение в обществе, как леопардовое манто у Жаклин Кеннеди?

Почти, чуть поменьше, сказал я и снова предложил сходить в магазин Коли, Орчар-стрит, в двух блоках от Дилэнси, там дубленки всегда в ассортименте.

Томас загоготал:

— Леопардовое манто от Коли, два блока от Дилэнси! Далеко, босс, ходить — а поближе нет лавки!

Была бы ближе, сказал я, какой резон таскаться в такую даль, пятнадцать минут ходу от Федерал-плаза.

Джерри посмотрел удивленно:

— Вы хотите нас уколоть? Я понимаю вас.

Томас сказал, он тоже понимает, но лицо вдруг переменялось, сошла веселая ухмылка, как будто невидимая рука в долю секунды стянула маску. Странно было наблюдать это стремительное превращение. Странно, но притом приятно, как бывает на сеансах иллюзиониста, когда удается хороший фокус.

Джерри повертел в воздухе пальцами, вроде ищет, завинчивая-отвинчивая, нужное положение регулятора.

— Будем откровенны, — сказал Джерри. — У вас такое чувство сейчас, как будто из КГБ пришли к вам домой. И вам это сильно не нравится.

— Сэр, вы не угадали. Ко мне домой не приходили. Наоборот, звали к себе, чтобы спросить: "А что, если нагрянем в гости?". И всегда предупреждали: "Смотрите, как бы не застрять". Откровенность за откровенность: вы не тянете на КГБ.

Джерри удивился:

— Не тянем? Вы в самом деле так думаете?

Томас, как давеча, оторвал треугольный свой торс от кресла, бицепсы под рукавами обозначились, как у штангиста, выходящего на вес.

— Надо будет, — сказал Томас, — потянем.

— Не, сэр, не потянете.

— Не, потянем. Потянем, — повторил Томас.

В голосе его звучала нота обиды. Я отчетливо слышал эту ноту, и захотелось мне подойти к нему, положить, как другу, руку на плечо и сказать: "Хей, Том, дружище! Конечно, потянете. Как пить дать — потянете!".

Я готов был уже сказать Томасу эти слова, но Джерри вдруг повернул разговор:

— Когда вы говорили, что благородное мальчишеское правило "лежащего не бьют" не работает в Америке, как должны были понимать эти слова те, кто слышал? Я думаю, надо уточнить: это были ваши слова?

Да, это были мои слова.

— Да, Джерри, это были мои слова. Благородное правило мальчишеского рыцарства "лежащего не бьют" — в Америке не работает. Я повторяю на тот случай, чтобы магнитофоны, если они у вас есть, могли записать.

Джерри сказал:

— У нас нет магнитофонов. Если бы у нас были магнитофоны или какое-нибудь другое записывающее устройство, мы поставили бы вас в известность.

Томас захватил пальцами углы подлокотников, было впечатление, готовится к прыжку, машинально я сделал шаг навстречу, он остался в той же позе и с хрипотцой, какая появляется в голосе, когда приходится сверх меры сдерживать себя, произнес:

— Вы оскорбили должностное лицо при исполнении служебных обязанностей. Вы сказали, мы прячем под полкой магнитофоны и ведем без вашего ведома запись.

— Я этого не говорил.

— Не говорили, — подтвердил Джерри, — но ваше предложение повто-

ритель слова строились на том, что запись ведется. Здесь не было прямого утверждения, но был определенный намек, чего вполне достаточно, чтобы толковать как клеветническое измышление. Но, конечно, — улыбнулся Джерри, — никто не будет. Просто гипотеза.

Я протянул руку Джерри, он мгновенно, без промедления, подал свою, сухую, с неожиданно крепкими пальцами, другую руку положил мне на плечо, сделал движение, как будто хочет привлечь к себе, прижать.

Томас скорчил гримасу, видно, вся сцена была не по вкусу, сказал, кивая на Джерри, не зря говорят русские, свой в доску, понимает с полслова.

— Полслова, — подмигнул я Тому, — много. Если считать от тезиса про клевету, который просто гипотеза, в нашем случае и полслова не было. Чистый импульс.

Джерри сказал, у русских импульс это голос сердца, крик души в обход цензуры. Люди так намаялись под цензурой, что всякому первому чувству, первому слову рады дорогу дать. Талейран, который сначала был епископ, а потом министр у Наполеона, говорил: бойтесь первого движения сердца — оно обычно бывает искренним.

Джерри улыбнулся:

— Если бы я не знал, что это сказал Талейран, я бы подумал, что сказал Достоевский.

— Джерри, Достоевский не сказал бы: бойтесь!

Джерри засмеялся, ткнул меня кулаком в грудь:

— Конечно, правильно. Достоевский, наоборот, сказал бы: верьте первому движению души — оно обычно бывает искренним. Это как у детей. Я заметил, что русские, не все, но большая часть, — это просто, как маленькие дети, которые все замечают и торопятся найти кого-нибудь, чтобы рассказать. У них такой запас накапливается, что обязательно хочется описать. С Брайтон-Бича письма бывают по десять страниц из школьной тетради, с такими подробностями, что Шерлок Холмс, который по следам грязи на каблуках угадывал, из какого района Лондона, мог бы удивляться, сколько у него еще остается незамеченным. Особенно если взять детали из быта. Скажите, это правда, — спросил Джерри, — что когда русские зовут в гости на обед, неприлично ставить на стол курицу, а обязательно надо какой-нибудь стейк из говядины или другого мяса?

Да, сказал я, лучше всего из дикого кабана или аляскинского оленя. Но если нет ни того, ни другого, кусок медвежатины тоже сойдет.

Томас чуть не заржал:

— Ну, даете, ребята: кусок медвежатины тоже сойдет!

Джерри кивнул: он понимает, это шутка, но каждый день на завтрак медвежья колбаса — это тоже шутка?

Мне не нравился гастрономический поворот темы, не нравился жеребячий смех Томаса, не нравился юмор насчет завтрака, где на каждый день неизменное блюдо — медвежья колбаса.

Джерри сказал, он видит, я чем-то недоволен, но не понимает причины недовольства.

Томас с ходу объяснил:

— А ему завидно, что другие имеют каждый день на завтрак медвежью колбасу, а он не имеет. А паюсную икру имеет? А паштет из гусиной печени, самолетом из Мюнхена, из Праги? А трюфель, только что выкопали из земли, заправили и прямо на стол? А на десерт — марципаны в сметане? Имеет? Не имеет!

Я не ожидал от Томаса такого монолога. Я сказал ему:

— Отличный монолог. А география какая, а гастрономия!

— Я думаю, — улыбнулся Джерри, — нетрудно догадаться: Томас цитировал, не дословно, но по смыслу очень близко.

Джерри спросил: как можно объяснить, что здесь, в Америке, многие из этих людей, хотя сами могут позволить себе разные деликатесы, пишут о своих соседях или знакомых, как будто есть что-то предосудительное в меню, которое тем нравится?

Скорее всего, сказал он, в этом можно усматривать детскую зависть. Именно детскую, потому что дети, даже когда нет особенного аппетита, заглядывают друг другу в тарелку, чтобы узнать, у кого больше.

То же самое, наверное, можно думать насчет одежды, когда пишут, например, про дубленки или какие-нибудь шубы, больше всего норковые, как будто у всех женщин одинаковый вкус. Или, если взять другой пример из быта, про итальянскую, голландскую и шведскую мебель. Хотя, конечно, это немножко загадочно, что русские так много говорят про мебель.

— Знаете, — улыбнулся Джерри, — я думаю, это все-таки какая-то инфантильность. Я читал у Гейне, что немцы в своих домах наделяли предметы домашней утвари душой. У каждого предмета — шкафа, комода, кровати — была своя душа, которую обитатели дома чувствовали. Конечно, это было двести лет назад. Предметы мебели, по внешнему виду неодушевленные, на самом деле были для хозяев как друзья, как близкие родственники. Я заходил в русские мебельные магазины. Это же целое царство. Люди, которые обставляют свои жилища такой мебелью, наверное, чувствуют большую безопасность. Я думаю, это можно понять. Но здесь есть другая сто-

рона. В письмах, какие к нам приходят, можно найти имена, адреса людей, которые живут на пособие, а могут позволить себе такую обстановку.

— Джерри, — сказал я, — но у этих людей, которые живут на пособие, есть дети, есть внуки, которые помнят, что у них есть папы-мамы, бабушки-дедушки.

— О, — кивнул Джерри, — это очень правильно: у вас, русских, родственные связи — это прямо традиция. Но в письмах можно найти, что не дети помогают пожилым родителям, а как раз наоборот: родители помогают детям. Иногда бывают самые неожиданные подробности. Старики идут к своим русским докторам, те выписывают не только лекарства, но всякие снаряды для физических упражнений, так что у некоторых в квартире целые спортивные склады. Или...

Джерри засмеялся, спросил, что означает русское слово "хомейка", я машинально повторил — "хомейка"? — и сказал, что такого слова, *хомейка*, в русском языке нет.

Джерри нахмурился:

— Вы уверены?

— Абсолютно. Сто процентов. Томас весело зачастил:

— Поймался! Поймался! А прислуга по-русски как? Хомейка! Поймался, поймался!

— Так вот, — сказал Джерри, — старикам прописывают, на двадцать четыре часа по уходу, хомейку, а старики либо своих родственников пристраивают, либо со сторонней хомейкой сладятся из половины.

Я твердил про себя: хомейка, хомейка, хомейка... Слово казалось до странности знакомым, смысл был где-то рядом, но, приблизившись почти вплотную, тут же ускользал. И вдруг отчетливо, как голос электронного говорящего словаря, прозвучало по-английски: *homemaker*.

— Джерри, — сказал я, — держите: ваша *homemaker* — от русской *хомейки*.

Джерри смотрел на меня удивленно, сильно наморщил лоб и вдруг, хлопнув себя ладонью, расхохотался:

— Ну, конечно, *homemaker*. Как можно было не догадаться! Ну, немножко не совсем точно: *homemaker* скорее домохозяйка, а не прислуга, но, конечно, часто делает работу как прислуга, домработница. По-моему, у русских получился очень удачный неологизм. Наверное, имеет смысл рассказать славистам из Колумбийского университета. Вообще, я думаю, им интересно было бы провести такое исследование по лингвистике: неологизмы в языке русских эмигрантов.

Я сказал, по-моему, тоже очень интересно. Такая работа и для конторы, в которой трудится Джерри, не без пользы. Тем более что у людей может быть свой практический расчет на пользу.

Да, сказал Джерри, в России практическая польза могла быть. И бывала. Лубянка, в каждом городе была своя контора, приучала людей: зайдешь с черного хода — проводят с парадного. Но в Америке не так. Здесь, Джерри постучал костяшками о стол, через какую дверь вошел, через ту и выйдешь.

Конечно, иногда можно заметить, что люди рассчитывают на вознаграждение. Словами об этом не говорят, но по глазам, по движениям видно, что стараются угадать, как лучше угодить. Рассчитывают, что можно получить должность инструктора, воспитателя где-нибудь в средней школе или место в публичной библиотеке. Конечно, это неоправданные ожидания.

— Вообще, — Джерри задумался, видно, мысль пришла в голову сейчас, по ходу разговора, — наверно, следовало бы предупреждать, а то получается немножко нечестно, какие-то жмурки, конечно, только с одной стороны. Но есть хорошая поговорка: когда находишься в Риме, делай так, как делают римляне.

— Мудрая поговорка, — сказал я, — Александр Бэрлинсон, ваш коллега, любил вспомнить ее.

— Александр Бэрлинсон? — удивился Джерри. — Я вижу, вы немножко интересуетесь нашей службой...

— Агент Бэрлинсон, поэт, сочинял стихи, мастерски играл на фортепиано, в музыке превыше всех ставил Стравинского и Прокофьева. Россия была для него жар-птицей с опаленными крыльями.

— Увы, — развел руками Джерри, — старина Бэрлинсон прошел свою земную дорогу. Вам не говорили?

— Нет. Говорили об американских интеллектуалах, для которых ремесло филёра исполнено романтики. Разговор был в университетской компании, за чашкой кофе.

— В России, — засмеялся Джерри, — в этом случае, конечно, кроме кофе, была бы на столе бутылка водки.

Джерри подошел к окну, некоторое время стоял молча, вдруг замахал рукой, призывая к себе:

— Русский пароход! Как будто специально выбрали момент. Мистика!

Белые буквы на корме отчетливо были видны: "Колыма". Джерри громко, по слогам, прочитал вслух, удивился: какая Колыма, в Сибири, где Гулаг?

Я сказал: Колыма река, больше Колорадо, по длине — пять Гудзонов.

Джерри засмеялся:

— Наверное, можно сказать, что в три раза меньше, чем Миссисипи и Миссури. Но впечатление, конечно, будет другое.

Я сказал:

— Джерри, держу пари: вы убеждены, что у всех из России, почти у всех, ностальгия. Даже Колыма не исключение для них.

Джерри опять засмеялся:

— А что, не так? Несколько человек, которые по разным причинам имели срок на Колыме, говорили мне, что какая-то тоска держалась довольно долго и даже теперь иногда возвращается. Достоевский хорошо знал этот феномен из мест заключения и ссылки. Привычка — большая сила. Очень большая сила. Особенно в России.

— Джерри, когда в последний раз вы были в России?

— Я не был в России, — сказал Джерри. — Но бывает чувство, как во сне: знаешь, что не был, но одновременно другое чувство, что был. Я думаю, наш мозг можно сравнить с компьютером, где программа дает каждому уровню автономию.

Томас прямо заерзал в своем кресле: ну, точно, это у него еще со школьных лет, как будто в голове разные полки, на каждой полке своя жизнь, делаешь вид, что слушаешь учителя, а учитель вдруг подойдет, возьмет за подбородок, потянет кверху, ах, где ты?

Джерри, пока Томас вспоминал о таинственных извивах своей школярской психологии, смотрел в окно, видимо, следя за судом.

Внезапно обернувшись, но оставаясь по-прежнему в оконном проеме, как будто вставленный в раму, Джерри произнес громко, быстро, уверенно:

— Вы убеждены, что вас оговорили. Я просил вас назвать имена. Вы этого не сделали. Я готов повторить: назовите имя.

Ослепленный солнечным светом, бившим мне в глаза, я видел лицо Джерри, как бы припорошенное синькой. Это было неожиданно, я засмеялся, сказал Джерри, он для меня сейчас, как некий дух в лесной избушке у Амброза Бирса, где по пари, которое заключили между собой два американских парня, один из них при свете свечи в ночной этой избушке, читает страшный рассказ, и в тот момент, когда ужас, охвативший его, достигает своего пика, замертво сваливается на пол, где и застает его друг, пришедший утром в избушку, чтобы убедиться, что выиграл пари.

Джерри — лицо его уже прояснилось — смотрел на меня пристально, моментами я видел глаза друга, пусть не друга, но, несомненно, доброже-

лателя, я готов был назвать имя, которое он хотел услышать от меня, но тут же, как бы во всем теле синхронно сработали тормоза, был этими тормозами остановлен.

Джерри усмехнулся:

— Я понимаю, тормоза. Механизм. Вы не хотите говорить, вы хотите услышать. Скажите, вы полагаете, что у человека могли быть личные мотивы, претензии, какие-то неоправданные... или, скажем по-другому, не оправдавшиеся расчеты?

Я сказал Джерри, оправдались или не оправдались эти расчеты — это ему лучше знать.

Джерри спросил:

— А какие, по-вашему, могли быть расчеты? Или не обязательно расчеты, какие-нибудь другие мотивы? Скажем, просто желание сотрудничать с теми, кто, как это привыкли видеть русские, представляют власть. Вы не думаете, что это может быть совсем бескорыстно?

Я сказал, да, может, как в романе Генриха Манна "Верноподданный". Инстинкт верноподданничества.

— Инстинкт верноподданничества? — Джерри поморщился. — По моему, это немножко оскорбительно. Генрих Манн — немецкий писатель. Вы не могли взять какой-нибудь пример из русской литературы? В русской литературе много примеров патриотизма.

— Джерри, — сказал я, — можно полагать, ваши конфиденты приводили свои примеры из русской литературы. Из русской советской литературы.

— Приводили, — улыбнулся Джерри. — Говорили про пионера Павлика Морозова, который выдал своего отца, потому что тот был против колхозов, и отца расстреляли в КГБ. Но больше говорили про русских писателей, особенно про Пушкина. Со стороны одного литератора была готовность даже прочитать целую лекцию про Пушкина. Она объяснила, в городе, где она провела свое детство, до сих пор стоит очень красивый памятник Пушкину, и для нее лично Пушкин как живой. Если бы можно было дать ей хорошего переводчика, она бы прямо сегодня села за книгу о Пушкине. Но, конечно, — пожал плечами Джерри, — по таким вопросам надо говорить где-нибудь в журнале или книжном издательстве. Возможно, повторяю, это наше упущение, что люди сохраняют какую-то надежду на содействие.

Я кивнул Джерри: да, надежда на содействие — это, конечно, пустое. Но возможна и другая реакция: противодействие. Я спросил Джерри: практикует ли его контора этот вид ответа на активность особи, естествен-

но, оставляя ее в неведении относительно источника противодействия, если деятельность особи подвергается сомнению?

Джерри вопрос не понравился. Было очевидно, он обдумывает ответ, какой уместно было дать, чтобы, с одной стороны, не допустить посягательства на честь мундира, а с другой стороны, не подвергнуть сомнению его готовности вести, в наметившихся границах, честный разговор.

— Скажите, — Джерри скрестил руки на груди, чуть склонил голову, прищурил правый глаз, вроде прицеливается, — вот этот журналист, корреспондент московской газеты, с которым вы ходите в сауну, в бассейн в Бруклине, где можно по-русски выпить и закусить, он что-то делает для вас в Москве или обещает сделать?

— Джерри, — сказал я, — есть хорошая идея. Хотите?

Джерри кивнул: говорите.

— В Москве у вас есть, конечно, свои люди. Я думаю, они могут дать точную информацию. Надо будет добавить — добавим.

Джерри стоял все так же, скрестив руки на груди, только поднял голову, а Томас, как будто засадили из-под сиденья шпильку, подпрыгнул в кресле:

— Слушай, да он же просто хамит: свои люди в Москве! А ты назови. Назови. А нет — клевета!

Джерри — молодец. Интеллигентный парень. Спросил Томаса, все ли, немного подождет, может, тому захочется добавить, и продолжал со мной, вроде никакой не было паузы:

— Вы с этим журналистом встречались прежде в Москве?

Я сказал, нет, не встречались, познакомились здесь, в Нью-Йорке.

— А в Лондоне, — спросил Джерри, — встречались? Вы ездили в Лондон по литературным делам? Как раз в тот период, когда вы ездили, он вторично, после перерыва, был там московским корреспондентом. Лондон — прекрасный город. Мне лично даже больше нравится, чем Нью-Йорк. Наш Бостон немножко напоминает.

Я согласился, да, напоминает, но, конечно, не тот масштаб.

Джерри сделал знак рукой: он понимает, видимо, у многих, не у всех, но у многих, такое впечатление.

— Кстати, — улыбнулся Джерри, — когда вы повезли его на своей машине в Бостон, на конференцию славистов, он тоже, я думаю, сравнил Бостон с Лондоном. Были, наверное, какие-то воспоминания у вас, у него?

Я подтвердил, были. Досадно, что Джерри не было тогда с нами рядом. Теплая получилась бы компания: московский корреспондент, эмигрант со стажем и стопроцентный янки с долей индейской крови.

Я спросил: кстати, это верно, что слово "янки" пришло в американскую лексику из индейской?

Томас смотрел на Джерри, на меня, на лице то появлялась, то исчезала плутоватая ухмылка, если бы не торс атлета, вполне мог бы сойти за Фальстафа. Джерри, как будто прочитав мою мысль, весело произнес:

— Ну, прямо Шекспир!

Томас нахмурился: кто Шекспир? Но тут же, не дожидаясь ответа, дал свое толкование: где писатели, там всегда цирк или театр. Им только бы подходящий случай. Сенатор Маккарти, тот хорошо понимал, тот раскусил.

Джерри скорчил гримасу, я ожидал, сделает коллеге реприманд, мода на Маккарти, почитай, годов уже за тридцать, как прошла, но никакого реприманда не было, Джерри дал отмашку рукой, дело, дескать, давнее, чего вспоминать, и воротился к теме:

— Московский этот журналист имел привычку привозить для сауны березовые веники из России. Он и для вас привозил? Я имею в виду, конечно, презент.

Нет, сказал я, мы не были настолько близки, чтоб привозить мне в презент из России березовые веники. Березовый веник в России — это мера близости. Конечно, не такая, как березовая каша, известное угощение на Руси, еще со времен царя Гороха.

Джерри засмеялся: он знает, царь Горох в России — это любимый персонаж из фольклора. Но березовая каша? Вообще у русских каша — это почти главное блюдо. Даже в поговорку вошло: мало каши съел, то есть недостаточно умный, проще говоря, дурак. Американцы этого не понимают, что от каши, в зависимости от того, сколько съел, делаешься или дураком, или умным.

Томас очень удивился, что каша играет такую большую роль в жизни русских, но тут же вспомнил, что в семье у них тоже по утрам ели порridge, овсянку. Мать говорила, что овсянка выводит холестерин из организма, и меньше шансов заболеть атеросклерозом. С этой точки зрения русских можно понять.

В России, сказал я, одно время был прямо культ овсянки. Даже название было заграничное, культовое: "Геркулес".

Джерри кивнул, да, русские любят давать имена из истории, хотя, в данном случае, скорее из мифологии.

— С этим русским репортером, когда ходили на Брайтоне в ресторан, — Джерри свойски подмигнул мне, — вы, конечно, не заказывали "Геркулес". Кстати, у меня будет к вам профессиональный вопрос. Я имею в виду по

вашей профессии. Если бы где-нибудь в рассказе или романе вам пришлось изобразить героя, который похож на русского этого репортера, какой бы жанр вы скорее выбрали: психологический или детектив?

— Джерри, — сказал я, — у меня к вам тоже профессиональный вопрос. Я имею в виду вашу профессию. В данном случае, можно полагать, вы предпочитаете детектив: инструкции из центра, спецзадания Лубянки и кадровый вопрос — вербовка осведомителей?

Джерри спросил:

— А что, это первое, что пришло вам в голову? И вы, можно считать, готовы были бы включить это в рассказ или роман?

Мне хотелось положить ему на плечо руку и сказать без фиглей, как говорят друг: "Ты, старик, гайки бы подкрутил. Ну, что ты ловишь меня, как железнодорожного зайца, который забрался в купе, в нужник, а у тебя ключи в кармане. Вокруг наводчики, доброхоты, прямые вагоны Хацапетовка — Нью-Йорк, Егупец — Нью-Йорк, Сивцев Вражек — Нью-Йорк! Ту-ту, станция Брайтуха. Далее везде!".

Джерри улыбнулся:

— Я вижу, вы обдумываете ответ. Я заметил по вашему лицу, вам не понравилось то, что я сказал. Я думаю, мне бы тоже не понравилось. Не обязательно отвечать, если внутри протест или просто нет желания. Писатели и поэты, как они сами говорят, отвечают только, — Джерри поднял глаза, поднял высоко вверх указательный палец, — только перед Ним. Но, конечно, в то же время они живут на земле и, как заведено у вас в России, каждый имеет паспорт с пропиской. В Америке прописки нет, но каждый, — Джерри засмеялся, — даже бездомные, занимает какое-нибудь место. Я уверен, вы хорошо понимаете, не надо объяснять.

Я подтвердил, объяснять не надо, я сам стою за учет и восхищен американской системой учета, которую нет дня, чтобы не было причины или просто какого-нибудь случайного повода почувствовать на личном опыте. Один мой знакомый, гарвардский профессор, нашел, как мне кажется, очень образную формулу, чтобы выразить этот личный феномен как комплекс полулегального бытия. Он полагает, что в Америке каждому индивидууму, не исключая самого президента, в той или иной мере свойственен этот комплекс. Конечно, в местах особого режима, при пожизненном или другом долгосрочном заключении, этот комплекс, поскольку закон уже сказал свое слово, теряет почву.

У австрийского писателя Франца Кафки, сказал Джерри, описано такое чувство в романе "Процесс". Но Франц Кафка, пражский еврей, жил

в империи Габсбургов, в Австро-Венгрии, где не было демократии, а был авторитарный режим.

— Опустим все другие стороны, возьмем, — Джерри на мгновение задумался, — только одну сторону: психологию. По-вашему, нет разницы между психологическим опытом современного американца и героя Франца Кафки? И от комплекса, как говорил ваш знакомый профессор, полулегального бытия сегодня можно освободиться только в тюрьме?

Откуда он взял это? Я не говорю, что можно освободиться только в тюрьме.

— Джерри, я не говорил, что только в тюрьме. Я говорил...

— Ну, да, — встрял Томас, — он не говорил, что только в тюрьме, где закон уже сказал свое слово. В сумасшедшем доме тоже. Если, понятно, нет какой-нибудь хитрой болезни, которая сама от комплекса полулегального бытия.

Я был уверен, что монолог свой Томас закончит реготом, гоготом, просто здоровым солдатским смехом, подтянет свой торс, поиграет бицепсами. Но ничего этого не было, как будто непонятно когда, каким способом, подменили человека: вместо простака, недотепы с плутоватой ухмылкой, сидел в моем кресле парень, какого я видел уже прежде, много лет назад, с теми же, отдававшими стеклянным холодом протеза, синими глазами, с пробуравленными точно по центру черными, из черноты извлеченными и в черноту уходившими зрачками.

Джерри явно была не по вкусу эта метаморфоза. Он смотрел на Томаса, не то ожидая продолжения монолога, не то какого-то кульбита, который вернул бы напарника к начальной его роли, вносившей манежную, если не расслабляющую, то амортизирующую, ноту во всякую сцену, когда коверному надлежало подать свою реплику.

Томас, то ли гонор не позволял, то ли просто не под силу было отрабатывать кульбит, переводил взгляд с одного на другого, в лице произошла заметная перемена, видно было, сам на себя досадует; странно, я чувствовал за собой какую-то вину, ну, скорее, не вину, а жалость к этому парню, делающему свою работу, поддававшемуся невольному порыву чувств задетого за живое американца, он вдруг засмеялся и, точь-в-точь как ранее, как будто патефонную иглу вернули снова в свою бороздку на пластинке, воскликнул:

— Ну, даете, ребята!

Джерри смотрел на Томаса, я мысленно прорабатывал варианты, гадая, какое слово найдет он, чтобы дать тому знать, теперь порядок, опять все в норме, но Джерри внезапно оборотился ко мне:

— Скажите, эту формулу полулегального бытия в Америке, которую вы получили от знакомого профессора из Гарварда, вы применяете только к другим или к себе тоже? Если, как можно думать, соблюдая логику, к себе тоже, то в чем вы усматриваете полулегальность лично своего бытия?

Я сказал Джерри:

— Сэр, вы хотите, чтобы я поминутно расписал свою жизнь? Чтобы ответить на ваш вопрос, надо написать роман в том же ключе, какой нашел для своего романа доктор Франц Кафка.

— Вы собираетесь писать такой роман? Я повторю свой вопрос: какими штрихами надо нарисовать портрет репортера из России, чтобы было похоже на действительность? Кстати, он, конечно, делился с вами, что у него были проблемы с аккредитацией.

Нет, сказал я Джерри, не делился. А мне, собственно, какое дело, были у него проблемы с аккредитацией или не было?

— Джерри, каждый журналист по природе своей разведчик. Это мнение полковника Фарраго, который был большой спец в своем деле.

— О, — воскликнул Джерри, — я вижу, вам попадалась его книжка "Война умов"! Он, конечно, был гений. Как раз по его опыту иностранных репортеров и тех, кто с ними в близком контакте, надо держать в поле зрения.

— Джерри, — сказал я, — только что вы просили у меня несколько примеров полулегальности бытия из личного опыта. Вот первый пример.

Джерри весело засмеялся:

— Понимаю, понимаю! Но вы немножко переставляете акценты. В данном случае мы как раз доверяем, и пришли, чтобы убедиться.

Я спросил: в чем убедиться?

— Знаете, — сказал Джерри, — это, конечно, русский феномен, что у людей такое настойчивое желание рассказывать, как живут другие. С одного Брайтон-Бича пишут столько, что получается прямо шестой боро Нью-Йорка. Несомненно, это привычка за долгие годы. А привычка, заметили древние римляне, вторая натура.

— Сэр, но вы сами...

Джерри перебил меня:

— Я знаю, вы хотите сказать, что мы сами даем зеленую улицу. И зеленая улица привела нас сюда, в это жилище, где хозяин сочиняет разные истории о полулегальности бытия своих соседей по этажу, по дому, по городу.

Я сказал:

— Сэр, мне знаком этот реестр. Для полноты требуется еще один компонент: страна.

— Родина! — игриво погрозил пальцем Джерри. — У ваших компатриотов чуткий нюх и наметанный глаз. Они чувствуют потребность высказаться раньше, чем находят слова. Можно, конечно, не придавать значения, не замечать. Но не замечать, показывает практика, не значит оставаться незамеченным.

Томас, видно было, опять в колее, буквально залился:

— А страус? В песок, в песок! Не только яйца — голову тоже!

Джерри поморщился, глянул машинально на часы и воскликнул: заговорились!

— Да, — сказал я, — заговорились. Пора додому.

Пожали друг другу руки, Джерри потряс с чувством, поблагодарил, просил, если будет нужда, звонить, не стесняться, я проводил до порога, оставил дверь приоткрытой, чтоб услышать, когда придет лифт.

Дважды, открываясь и закрываясь, громыхнула дверь. Бай, бай! Я запер на ключ, повернулся, чтобы идти, но принужден был остановиться: в мою дверь стучались. Я отворил: передо мной стоял Джерри, я предложил ему, пусть зайдет, но он не зашел.

— Да, сэ, — сказал Джерри, — если будете сотрудничать с русскими агентами, надо зарегистрироваться.

Пришел лифт. Чтобы не прозевать, Джерри тут же повернулся, припустил с места. Я ждал: успеет не успеет? Успел.

Нью-Йорк

